

Рассказы о блокадном детстве*

Р. М. Арбинская

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Шел к концу последний месяц зимы 1942 года. Февраль оказался таким же суровым и беспощадным, как и январь: по-прежнему стояли сильные морозы, к ним добавились ветры и метели, которые заметали дороги и делали их почти непроходимыми в наших краях. Для того чтобы добраться до булочной и получить свою «пайку» хлеба, ленинградцам приходилось тратить последние силы на преодоление нечищенных дорог.

В конце февраля моя старшая сестра Лидия простудилась – накануне она долго простояла у булочной, ожидая машину с хлебом, которая застряла в снегу, и водителю было трудно столкнуть ее с места.

Помощь пришла с большим опозданием, и людям, пришедшим за хлебом, пришлось решать дилемму: уходить домой без хлеба, которого с нетерпением ждали дома, или стоять на холоде в полной неизвестности.

Сестра вернулась домой в тот момент, когда мама уже собиралась идти к ней на помощь. Мы едва узнали Лидию: платок на голове был покрыт снегом, а на лице были видны глаза и распухший нос красного цвета. Никакие растирания не помогали, нос долго болел, а на переносице у Лидии до сих пор видна «метка», как напоминание о пережитых нами блокадных днях. Однако, как говорится в русской пословице, «нет худа без добра» – продавщица, глядя на распухший красный нос сестры, сжалилась над ней и выдала ей хлеб на два дня вперед – что было весьма редким явлением в те дни.

Прошло два дня, сестра чувствовала себя уже лучше, но выходить на улицу ей было еще рискованно. Поскольку Лидия была в семье единственным «поставщиком» хлеба, то возникла проблема – кому идти в булочную. «Запасы» хлеба были уж



Мария Ивановна Майорова
(1905–1993)

на исходе, а просроченные хлебные талоны не отоваривались.

Мама решила, что в булочную пойдет она сама, хотя мы, дети, дружно возражали против ее решения, помня, как тяжело мама перенесла воспаление легких в январе. В самом разгаре нашего спора в дверь постучали, и на пороге появилась мамаина средняя сестра, Мария Ивановна Майорова, от которой мы не получали никаких известий с середины октября 1941 года, после похорон моей бабушки. Наша радость была бесконечной, мы забрасывали тетю Марию вопросами, на которые она не успевала отвечать.

Мария Ивановна была старше мамы на четыре года. Она жила с мужем на Петроградской стороне, детей у них не было, и они часто брали меня к себе, чтобы дать маме немного отдохнуть от лишних забот. Тетя Мария работала на фабрике «Красное знамя». В начале войны ее муж ушел на фронт, и она осталась одна. Когда в Ленинграде закрылись

все детские учреждения – ясли и детские сады, к Марии Ивановне обратилась с просьбой ее близкая подруга, которая с годовалым сыном жила на Крестовском острове (муж ее в это время был на фронте) и работала поваром в одном из профучилищ города. У нее никого не было, и оставить сына было не с кем. Мария Ивановна переехала к подруге и нянчила ее сына вплоть до самой весны 1945 года.

Подруга Марии Ивановны ежедневно приносила домой еду, состоящую из блокадного хлеба и крупяного супа. Таким образом, в доме всегда была горячая пища, и тетя Мария не испытала того страшного голода, который выпал на долю блокадников, – ей удалось избежать «голодной дистрофии», что было характерной чертой многих ленинградцев.

За четыре месяца работы в «няньках» тетя Мария смогла засушить сухарей из хлеба, который она выкраивала из своего пайка, и отложить часть крупы, которую удавалось получить по карточке иждивенца, благодаря своей подруге. Все эти драгоценнейшие в то время продукты тетя Мария принесла нам в тот холодный февральский день, когда ее подруга, сумев договориться на работе о замене, отпустила тетю Марию на один день, чтобы она могла навестить сестру и ее троих детей.

Дорога от Крестовского острова до Удельной была длинной и трудной – весь транспорт в городе стоял без движения, и добраться к нам можно было только пешком. Тетя Мария вышла из дома, когда начинало светать, и добралась до Удельной только к 12 часам дня, чуть живая от усталости.

Перекусив и отогревшись, тетя Мария стала собираться в обратную дорогу, но, узнав о нашей проблеме, не задумываясь пошла в булочную и выкупила наш хлебный паек на два дня вперед.

Когда тетя Мария, простившись с нами, ушла, мама стала перед ико-

* Продолжение. Начало в № 1 (65), 2012.

ной Спасителя и, молясь, просила его послать сестре помощь в дороге. Впоследствии мы узнали, что Марии Ивановне повезло с обратной дорогой – водитель грузовика подвез ее почти до самого дома за пачку «Беломора» – папирос, оставшихся после ухода мужа на фронт.

Продукты, которые тетя Мария привезла, помогли нам дожить до конца марта, когда уже кое-где на проталинах стала появляться съедобная трава. Первый муж Марии Ивановны – Швайко Алексей Егорович – вернулся с фронта и вскоре тяжело заболел туберкулезом и скончался. Мария Ивановна спустя два года вышла замуж во второй раз за Майорова Александра Кузьмича, семья которого, жена и двое детей, умерли в 1942 году от голода.

Дальнейшая судьба была благосклонна к тете Марии – она подарила ей спокойную и долгую жизнь. Тетя Мария скончалась в 1993 году, в разгар перестройки, на 89-м году жизни.

Теперь, когда я и моя сестра Лидия в беседах возвращаемся к дням блокады, мы благодарим судьбу за то, что она прислала нам тетю Марию, нашего «ангела-хранителя», в самые тяжелые дни нашей жизни.

ОДНОКЛАССНИЦА

К нам в 3 «А» класс пришла «новенькая». Учительница представила ее – Эля Борисова. Девочка была некрасивой, но мы все ее полюбили за талант и чувство справедливости. Помнится, она неоднократно заступалась за меня, когда мне делала учительница замечание за то, что я часто поворачивалась назад. За задней партой сидели мальчишки – озорники, которые делали бумажные «пульки» и из рогатки стреляли в нас, девчонок. Мне почему-то доставалось больше всех. Эля училась очень хорошо, и учительница ее любила и прислушивалась к ее мнению.

Однажды нам дали задание на дом – нарисовать каких-нибудь животных. Я не любила рисовать, и у меня особенно плохо получались животные. Когда Эля показала в классе свои рисунки, все ахнули – перед нами была лошадь с жеребенком, которые, как нам казалось, вот-вот сойдут с картины. Учительница тоже была удивлена и попросила Элю нарисовать что-нибудь

на доске мелом – возможно, она подумала, что кто-то из домочадцев нарисовал для Эли этих дивных лошадей. Эля охотно согласилась и нарисовала мой портрет, который действительно очень напомнил мою физиономию. Когда Эля закончила рисунок, все захлопали, потому что узнали меня на портрете. Весной был организован школьный конкурс живописи, и Эля заняла на нем первое место. Мы очень гордились Элей, когда учителя других классов говорили, что Эля – будущий художник-анималист.

После окончания третьего класса все ученики разъехались кто куда. Эля оставалась в городе, так как она помогала матери нянчить своего годовалого братишку. В июне того года началась война. Отца Эли взяли на фронт в танковые войска, и от него не было писем. Мать Эли не работала из-за ребенка, но она где-то убирала мусор, и ей дали «рабочую карточку». Однажды мать Эли простудилась, и Эле пришлось идти в булочную за хлебом.

Эля долго не возвращалась, но когда она пришла домой, то мать ее с трудом узнала – она почернела и была похожа на старушку. Вернулась Эля без хлеба – у нее кто-то вытащил из кармана все хлебные карточки, а это означало – смерть всей семьи. В то время карточки не «восстанавливались». Все «запасы», которые были в семье, скоро закончились, и начался голод. Эля ходила в булочную, просила «милостыню», рассказывала о своем горе, но люди, получавшие 125 г хлеба, не могли помочь ей, поскольку у всех дома ждали этого мизерного пайка с большим нетерпением. В конце января умер брат Эли, а за ним и мать – единственная опора семьи. Соседи выхлопотали место в больнице, и Элю, полуживую, увезли в «госпиталь». Эту печальную историю рассказала мне Маша Ляндина, моя и Элина одноклассница, которая жила в квартире рядом с Элей. Что случилось с Элей потом, ни Маша, ни я так и не узнали.

ЗАПАХ КЕРОСИНА

Март 1942 года выдался довольно теплым: снег быстро таял, обнажая страшные следы суровой, голодной зимы.

Моя мама, которая родилась в деревне и жила там до 20 лет,

знала все подробности, связанные с ведением сельского хозяйства. Однажды она решила пойти на поля совхоза Бугры, будучи уверенной в том, что там после уборки урожая всегда можно найти оставшиеся стебли и колоски зерна. В солнечный мартовский день мама взяла меня с собой, и мы отправились на поиски какой-нибудь пищи. Дойдя до конца Костромского проспекта, где стоял наш дом, я увидела нечто, похожее на большую, завернутую в тряпки куклу, и потянула маму за руку. Когда мы подошли ближе, то увидели «сверток», в котором лежал младенец с плотно закрытыми глазами. Казалось, что он крепко спал. Вероятно, его мать, обессилевшая от голода и горя, не смогла донести его до места погребения (Шуваловское кладбище) в снежную морозную зиму 1942 года. Мертвый ребенок напомнил маме о сыне (моем долгожданном братишке, о котором так долго мечтал мой отец), которого она потеряла за год до начала войны. Брат мой умер, не дожив до года, от болезни, которая в то время была еще мало известна в медицине (диспепсия).

Мама очень расстроилась, но голод заставил нас идти к намеченной цели. Шли мы долго и наконец пришли на поля, где еще кое-где лежал снег. К нашему счастью, в бороздах мы нашли довольно много колосьев овса (колосья были короткими и не попали в косилку). Вечером мы разложили колосья на просушку, а на следующий день мама уже натолкла в ступке зерна и из полученной муки испекла оладьи. Оладьи были похожи на те, что мама пекла до войны, но мы их с трудом съели. Дело в том, что для того, чтобы испечь оладьи, нужен был жир для смазывания сковородки, но у нас ничего не было, кроме «олифы», бутылку которой припас отец для ремонта. В разогретую сковороду, стоявшую на раскаленных углях, мама наливала олифу, сковорода занималась пламенем, а когда сгорал керосин – один из компонентов олифы, на сковороде оставалась растительное масло – второй компонент олифы, на котором мама пекла «оладьи».

С тех пор запах керосина вызывает у меня ассоциации со страшными и голодными годами 1941–1942 годов.

КРИК ДИКОЙ УТКИ

Весна 1943 года, ранняя и теплая, застала нас в Барабинских степях, куда нас привезли из блокадного Ленинграда. На полях совхоза, в котором мы поселились, уже шла посевная страда – сеяли пшеницу – важное стратегическое сырье для фронта и тыла. Кроме пшеницы проводился посев других злаковых культур, необходимых для корма крупного рогатого скота, на выращивании которого совхоз специализировался. С утра до позднего вечера взрослые находились на полях, а мы, дети, были свободны, так как детский труд использовался только на сенокосе и на прополке зерновых. За работу детям, как и взрослым, начислялись трудодни, которые оплачивались натуральными продуктами.

Ежедневно совхоз выдавал эвакуированным по 0,5 литра молока и 500 граммов хлеба на человека. Хлеб выпекался только для нас, ленинградцев, и имел форму круглых коричневатых, пухлых буханок, вызывавших аппетит. Однако он был малосъедобным, потому что был горьким в прямом смысле этого слова. Причина этого досадного явления заключалась в том, что самым распространенным сорняком на пшеничных полях была полынь, а семена ее по весу были равны зернам пшеницы. Отделить эти семена было абсолютно невозможно никакими способами, к тому же совхозная техника была весьма примитивной и устарелой, а химических средств для борьбы с этим сорняком не было. В результате зерно, будучи в длительном соседстве с полынью, становилось горьким, как сама полынь. У нас, блокадников, отношение к хлебу было особенным – хлеб был всегда основой нашего питания, однако в этой ситуации взрослые и дети отказывались от такого хлеба, предпочитая ему картофель, и потому всегда хотелось есть.

Чтобы заглушить постоянное чувство голода, мы, подростки, уходили в «камышовое царство» – так назывались заросли камыша, который произрастал на огромном степном пространстве. Жители поселка использовали камыш в качестве основного вида топлива; его скашивали, сушили и складывали в сараи в форме готовых вязанок.

Кроме того, камыш применялся как компонент строительного материала, необходимого для постройки одноэтажных глиняных изб (мазанок) и вспомогательных хозяйственных сооружений. Деревянных построек в поселке было не очень много – строительный лес был привозным и очень дорогим, а вырубка деревьев в карликовых лесах была строго запрещена. Поэтому большую часть домов в поселке составляли мазанки.

Весной в камышах разные птицы, особенно дикие утки, вили гнезда, стараясь устроить их подальше от дороги.

Для нас, подростков, было огромной радостью отыскать утиное гнездо со свежей кладкой; мы прокалывали яйца и с удовольствием высасывали их содержимое. Других лакомств у нас не было, кроме дикорастущего лука-порей, сладковатого на вкус, который мы съедали большими пучками, восполняя недостаток витаминов.

Мне запрещалось ходить в камыши, где можно было легко заблудиться – так густы и высоки были их заросли. К тому же острые остатки скошенных стеблей вонзались в босые ноги ребят (обуви у нас не было), оставляя кровоточащие раны, а лечить их можно было только травой, в основном подорожником, ибо других средств не было. Конечно, можно было обратиться за помощью к ветеринару, но он приходил в поселок довольно редко и только по вызову.

Однажды в отсутствие моей мамы я увязалась за ребятами, которые с утра отправились в камыши. Мы долго бродили вокруг зарослей в поисках птичьих гнезд, но все наши усилия были напрасны – осторожная птица никак себя не выдавала. Внезапно я заметила утиное гнездо почти у самой дороги. В гнезде было много крупных яиц. Ребята тут же принялись разбивать яйца, но, к нашему большому огорчению, все яйца были уже с зародышами. Расстроенные неудачей мы поплелись к поселку. Пройдя камышовые заросли, мы вдруг услышали крик утки; вероятно, это была та несчастная птица, гнездо которой мы так безжалостно разорили. В крике этой птицы я услышала отчаяние и зов о помощи.

Мы уже подходили к поселку, а у меня в ушах все еще стоял утиный крик.

Я была очень расстроена и весь день и вечер находилась под впечатлением случившегося. Крик дикой утки заставил меня мысленно вернуться к тем страшным дням зимы 1942 года, когда ленинградцы, обессиленные от голода, едва передвигая ноги, с трудом тащили к кладбищу санки с умершими родственниками по заснеженным улицам города, молча, без слез и без крика о помощи.

Тогда же мне припомнился рассказ моей старшей сестры (в то время ей было 15 лет), которой приходилось каждое утро вставать очень рано, чтобы получить в булочной наш жалкий паек – 125 граммов хлеба, которого часто не хватало на всех стоящих в очереди голодных людей.

В то недоброе утро сестра отправилась в булочную, когда на улице еще никого не было. Пройдя полдороги, она остановилась, так как узкую протоптанную дорожку ей преградила женщина, лежащая на снегу. На ней была шуба; на ногах – валенки; голова была закутана платком так, что видны были только одни глаза. Сестра попыталась заговорить с женщиной, но она слабым жестом руки отказалась отвечать на вопросы. Вероятно, женщина, увидев перед собой подростка-дистрофика, поняла, что помощи ей не будет.

Придя в булочную, где уже стояли исхудалые женщины, сестра рассказала об этом случае, но никто не вызвался прийти на помощь женщине – каждый понимал, что оказание помощи требует дополнительных сил, а их оставалось ровно столько, сколько требовалось на обратную дорогу к дому.

Возвращаясь из булочной, сестра снова увидела эту женщину. Она лежала на прежнем месте, на спине; глаза ее были широко раскрыты, и она не подавала никаких признаков жизни.

Я долго еще вспоминала те ужасные морозные январские дни, принесшие нечеловеческие страдания ленинградцам, которые стойко переносили их благодаря непоколебимой вере в то, что их страданиям скоро придет конец.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО

У тех, кто пережил Отечественную войну 1941–1945 годов, жизнь разделилась на два периода – довоенный и послевоенный. У ле-

нинградцев, переживших блокаду, жизнь разделена на три периода: до войны, после войны и во время блокады. Причем последний можно назвать периодом «выживания», когда слово «выжить» означало «совершить подвиг». В самый страшный период блокады – зимой 1941–1942 года погибло наибольшее число ленинградцев от голода, холода и артобстрелов.

Число погибших могло быть еще больше, если бы не было Ленинградского радио – едва ли не единственного источника моральной поддержки умирающего городу.

В моей семье радио никогда не выключалось. Мы прислушивались к голосу диктора, даже к его интонациям, слушали сообщения с фронта с большим вниманием, особенно в период блокады. Я вспоминаю, как, услышав голос Юрия Левитана, пробивавшийся сквозь черную «тарелку» репродуктора, мы, затаив дыхание, ловили каждое слово его сообщений, которые неизменно начинались со слов: «От Советского информбюро...». Этот уникальный голос до сих пор живет в нашей памяти; его невозможно забыть или передать, ему невозможно подражать – это явление в истории нашей страны. Он служил не только главным источником важной информации для всей страны, но и грозным оружием для фашистов. Мы жили с этим голосом до конца войны: грустили и переживали, когда вести с фронта были неутешительными в первые годы войны, и радовались самым «малым» успехам наших войск. С этим голосом мы встретили День Победы.

Отдельно хочется рассказать о Ленинградском радио, значение которого трудно переоценить для нас, живших в блокадном кольце, особенно в зимний период 1941–1942 годов.

Ленинградское радио в нашей жизни было чем-то самым важным; это был наш главный «член семьи», который помогал нам выжить – утешал, радовал, давал ценные советы и огорчал, когда объявлял «воздушную тревогу», или когда передавались сообщения о том, что «в результате ожесточенных боев наши войска понесли тяжелые потери», или – «в результате тяжелых боев» был оставлен тот или иной город.

В январе 1942 года от голода и холода ежедневно умирали тысячи ленинградцев, и, зная об этом, работники радио, сами едва держась на ногах от голода и недосыпания, день и ночь работали над программами передач, чтобы морально поддержать нас и не дать умереть еще и от отчаяния. Ленинградское радио вселяло в нас надежду и даже уверенность в том, что враг, который стоял в нескольких километрах от города, никогда не войдет в него.

Просыпаясь, каждое утро я слышала, как диктор Ленинградского радио спокойным голосом читал программу передач на текущий день, и казалось, что ничего страшного не случилось – я жива, живы все члены моей семьи, и жизнь продолжается.

Работники радио приглашали к микрофону артистов, музыкантов, поэтов-фронтовиков, которые читали свои стихи, в том числе нашу незабвенную блокадную поэтессу Ольгу Берггольц. Слушая стихи Ольги Берггольц, мы не плакали и не боялись смерти, потому что они призывали нас, как солдат на фронте, бороться, выжить и победить смерть. В доказательство правдивости моих слов я привожу несколько отрывков из ее стихов, коих мы были первыми слушателями.

Стихотворение «Разговор с соседкой» написано 5 декабря 1941 года:

*«О ночное воющее небо.
Дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский
ломтик хлеба –
он почти не весит на руке...»*

*Для того, чтоб жить
в кольце блокады,
ежедневно слышать
смертный свист –
сколько силы нам, соседка, надо –
сколько ненависти и любви...*

*Столько,
что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли?
Хватит ли терпенья?»
– Вынесешь. Дотерпишь.
Доживешь!*

*Дарья Власьева, – еще немного.
День придет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой»¹.*

А вот строки из другого стихотворения Ольги Берггольц, где она описывает самоотверженный труд работников радио. Они не нуждаются в комментариях.

Стихотворение «Твой путь» написано в 1945 году. В нем Ольга Берггольц вспоминает те дни, когда она в период блокады работала на Ленинградском радио.

*«...здесь, как в бреду, все смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще вставать
с постели,
пораньше утром, растемнив окно,
в кружок усевшись,
перьями скрипели.*

*Отсюда передачи шли на город –
стихи и сводки и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артисты –
всех не перечесть.*

*Они давно покинули жилища,
там, где-то в недрах города, вдали;
они одни из первых на кладбища
последних родственников отвезли.*

*И спаяны сильней, чем кровью рода,
родней, чем дети одного отца,
сюда зимой сорок второго года
сошлись –
сопротивляться до конца!»²*

Несколько слов о метрономе, который также сыграл свою важную роль в жизни ленинградцев. В короткие периоды затишья между бомбежками и артобстрелами метроном давал взрослым возможность заняться неотложными делами, а мы, дети, могли спокойно выйти на улицу, где был установлен репродуктор, или уснуть под точные «отсчеты времени». Тот же метроном помогал нам погасить в себе страх после бомбежек и воздушных тревог.

Закljučая свой рассказ о Ленинградском радио, я хочу еще раз подчеркнуть тот огромный вклад, который внесли работники радио в окончательную победу над фашистами.

По моему мнению, на доме радио следует установить памятную доску с изображением «черной тарелки», как символ мужества и самоотверженного труда в нечеловеческих условиях, в которых работали ленинградские «труженики невидимого фронта».

ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Ленинградцам, жившим в районах, удаленных от центра, после самых суровых и голодных месяцев блокады пришлось пережить еще одно тяжелое испытание. Как известно, жители Выборгского района, как и других так называемых «спальных» районов, проживали в деревянных домах-коммуналках, состоявших либо из четырех квартир, либо из восьми, как наш барак, причем в каждой квартире жили по две семьи. Дома были без удобств: общая кухня на две семьи, общий туалет, печное отопление и отсутствие водопровода. Каждая семья заготавливала дрова летом – покупали уже готовые распиленные деревья и хранили их в сараях. Воду брали из колонки, которая стояла рядом с домом и обслуживала жителей нескольких домов, а хранили воду в ведрах в кухне.

Однако такое неудобство, как отсутствие водопровода в доме, в блокаду сыграло огромную роль в жизни многих людей отдаленных районов. Колонка, знаменитая колонка, которая вместе с нами, блокадниками, выстояла и не замерзла в лютые морозы 1942 года, спасла жизнь сотен людей, давая всем без исключения свою «живительную» воду и помогая людям продержаться до весны.

К великому сожалению, колонка – боец, участник войны – не заслужила достойного внимания со стороны властей района и была ликвидирована вместе с нашими домами весной 1942 года. На примере нашего дома хочу сказать еще об одном преимуществе деревянных малонаселенных домов, в которых прошли самые страшные дни блокады, – это коллектив жителей дома, сплоченных одной целью – во что бы то ни стало выстоять и выжить; взаимная моральная помощь и вера в то, что Ленинград никогда не будет отдан фашистам.

К сожалению, этот коллектив распался из-за вынужденного переселения, которое было уготовано нам властями города. С тех далеких блокадных дней прошло много лет, но до сих пор нам, ныне еще живущим и празднующим Великую Победу, трудно понять логику и смысл решения тогдашнего правительства города – начать весной



Фасад деревянного дома, который стоял напротив нашего дома, но по каким-то причинам не был снесен весной 1942 г.

1942 года «великое переселение» блокадников, едва уцелевших от голода, больных и слабых, в такие же деревянные дома без удобств. Возможно, сама идея – заготовить дрова для отопления города заранее – была правильной, но она осуществлялась довольно жестокими методами – людей, переживших самые страшные дни блокады, насильно переселяли в те дома (без удобств), где квартиры были свободны после гибели целых семей от голода. Что касается наших прежних домов – деревянных барakov, то их снесли на дрова, и это произошло в районе, который был окружен тремя огромными зелеными массивами: Сосновка, парк

Челюскинцев, парк Лесотехнической академии, которые в то время не были парками в полном смысле этого слова, а представляли собой полудикие лесные территории. Если бы эти территории были освобождены от буреломов, сухостоя, старых деревьев и кустарников, то легко представить, сколько можно было бы заготовить на зиму хороших дров, не травмируя истощенных голодом людей!

Нас переселяли в последнюю очередь – в начале апреля 1942 года. Мы со слезами прощались с домом (Костромской проспект, 64), где прошло мое детство, где жила моя бабушка и откуда ушел на фронт мой отец.

Мы поселились в четырехквартирном двухэтажном деревянном доме дачного типа, расположенном на соседней улице (Ярославский проспект), недалеко от кинотеатра «Уран». В этом доме (без удобств) три квартиры были опечатаны (все жители этих квартир умерли от голода), нас поселили в четвертую квартиру, где две комнаты были также опечатаны.

Однако мы не радовались новому жилью, так как было трудно привыкать к жизни в пустом доме, сознавая, что здесь совсем недавно жили люди и здесь все они умерли от голода.

К тому же к нам часто приходили представители районного совета и настоятельно «рекомендовали» эвакуироваться, пугая предстоящей зимой. В конце августа мы отправились через Ладогу в далекую Сибирь, рассчитывая вернуться, как нам обещали, через несколько месяцев. Но разлука с родными и любимым городом растянулась на целых два года. На следующий день после нашего отъезда мама сестра приехала в наш дом, чтобы нас проводить (она перепутала дату нашего отъезда) и увидела следующую картину: крыша нашего дома была уже снесена, вещи из всех четырех квартир были вывезены неизвестно куда и, как нам позднее стало известно, просто разграблены.

Из наших вещей (некоторые вещи представляли антикварную ценность) чудом уцелел фарфоровый белый кувшин, который отец подарил маме в день рождения перед самой войной и который до сих пор хранится у меня в доме как дорогая реликвия – память об отце, погибшем на фронте.

Сейчас, спустя много лет, невольно задаешься вопросом – к чему была такая спешка и в чем была острая необходимость идти на преступление – позволить мародерам разорять запечатанные квартиры и посягать на чужую собственность? Неужели этот дом мог решить проблему – обогреть город? Свидетельством неправильного поспешного и непродуманного решения городских властей может служить дом, такой же деревянный, дачного типа, который стоял напротив нашего дома. Этот дом стоит до сих пор, и в нем живут люди. Его можно увидеть сейчас на проспекте Энгельса в

50 метрах от трассы. Каждый, кто проходит мимо, невольно задает себе вопрос: «Почему же людям, живущим до сих пор в деревянном доме без удобств, не дают благоустроенное современное жилье?»

Наверное, этот дом стоит как напоминание о том, что в любой ситуации, какой бы трудной и в какое бы трудное время она ни была, забота о людях должна быть первостепенной задачей любого правительства.

ВСТРЕЧА С ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Весной 1941 года, окончив третий класс, я и мои одноклассники расстались со своей любимой учительницей в надежде встретиться снова уже в четвертом «А» классе. Мы разъехались кто куда: на дачу, к бабушке в деревню или пионерский лагерь, но, увы, ненадолго – началась война.

Я и моя младшая сестра оставались в городе и ждали, когда отца дадут отпуск и он отвезет нас, детей и бабушку, в деревню, но этому не суждено было случиться. Война распорядилась по-своему. Отца призвали на фронт, а меня и младшую сестру отправили в лагерь в город Боровичи, где было еще относительно спокойно, а в небе еще не появлялись «мессеры».

Многие мои одноклассники были срочно эвакуированы вместе с семьей, а из тех, кто остался зимовать в городе, лишь немногие пережили блокаду. После переселения в другой дом я потеряла связь со своими одноклассниками, но в июне 1942 года я случайно встретила Машу Ляндину, которая сообщила мне, что видела нашу учительницу Елизавету Матвеевну (умную женщину средних лет), которая предложила встретиться у нее дома и просила передать это приглашение всем, кого удастся встретить или как-то сообщить. У Елизаветы Матвеевны не было своих детей, и ей, конечно, хотелось увидеть своих питомцев.

В назначенный день и час мы (я, Маша Ляндина и Толик Егоров) собрались в большой просторной комнате Елизаветы Матвеевны. Угол комнаты был отгорожен от всего пространства толстыми шторами. Там, по словам Елизаветы Матвеевны, любила отдыхать ее старенькая мама.

В тот день угол комнаты был пуст – мама Елизаветы Матвеевны умерла в декабре 1941 года.

Муж Елизаветы Матвеевны воевал на Белорусском фронте, писал письма редко, а весной 1942 года с фронта пришло сообщение о том, что он пропал без вести.

Посреди комнаты стоял стол, покрытый белой скатертью, на котором были расставлены чайные приборы и большой фарфоровый чайник для заварки. Подождав минут двадцать и убедившись в том, что больше уже никто не придет, Елизавета Матвеевна пригласила нас к столу, поставив на стол нарядные букетики первых весенних цветов, которые мы ей принесли в подарок.

Кроме чайных приборов на столе стояли десертные тарелки, на каждой из которых лежали ломтик черного хлеба и небольшой кусочек сахара. Елизавета Матвеевна разливала чай, от которого шел давно забытый нами аромат неповторимого довоенного чая. Хозяйка строго предупредила нас, чтобы мы съели и хлеб и сахар, вкус которого мы, дети блокады, успели забыть. Я украдкой зажала кусочек сахара в ладони и сохранила его до самого дома, разделив поровну с моей младшей сестрой (строго на две равные части). За столом Елизавета Матвеевна расспрашивала нас обо всех членах наших семей, горевала о судьбе Эли Борисовны, нашей художницы, и рассказывала о себе. После смерти мамы Елизавета Матвеевна пришла в военный госпиталь на работу по уходу за ранеными и продолжала работать весной.

Прощаясь с нами, хозяйка дома подарила нам каждому по тетрадке и карандашу и выразила надежду на встречу 1 сентября уже в четвертом «А» классе.

Однако встрече этой не суждено было состояться – война вносила свои коррективы в планы людей: из присутствующих гостей только Маша Ляндина пошла 1 сентября в четвертый класс. Семья Толика Егорова переехала в центр города, а я и моя семья были эвакуированы в далекую Сибирь. Спустя много лет после окончания войны, когда волею судьбы я стала жить на одной улице с Машей Ляндиной, я узнала от нее, что наша любимая учительница не вернулась в школу.

Она уехала вместе с госпиталем на фронт, где работала в санитарном поезде до конца войны. К сожалению, ни я, ни Маша так ничего и не узнали о дальнейшей судьбе нашей первой учительницы, с которой нас навсегда разлучила война.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

За год до Отечественной войны во дворе нашего дома в летние вечера устраивались танцы, которые организовали два брата: старший Анатолий, приблизительно двадцати лет, и младший Леонид, приблизительно восемнадцати лет. Они первыми приобрели тогдашнюю новинку – радиолу и, установив ее на подоконнике (их квартира располагалась на первом этаже), крутили пластинки (в основном танцевальные) до позднего вечера. К нам во двор на танцы приходили из окрестных домов молодые девушки и парни, среди них особенно выделялась одна пара: партнершу звали Ольгой, она отличалась от других девушек своей необыкновенной красотой – большие голубые глаза и толстая русая коса. Ее партнера – темноволосого высокого и стройного юношу – звали Александром. Запомнились они потому, что я не пропускала ни одного вечера танцев и, заслышав первые аккорды танго «Счастье мое...», опрометью сбегала по лестнице со второго этажа

и не уходила со двора, пока меня не заставлял вернуться домой строгий голос мамы. Эта пара запомнилась мне еще и тем, что они всегда танцевали только друг с другом, а когда с пластинки радиолы раздавался голос Изабеллы Юрьевой: «Саша, ты помнишь наши встречи...», они почти всегда солировали, потому что многим хотелось посмотреть на эту красиво танцующую пару.

Когда началась война, Саша один из первых, ушел на фронт, как и многие другие ребята, которые приходили на танцы. Я помню последний вечер танцев в самом конце июня 1941 года.

Народу было мало, а те, кто были, не танцевали, а слушали музыку и с тревогой о чем-то разговаривали. С тех пор мы уже не слышали музыки новой радиолы – она замолчала на долгие годы: младший брат ушел на фронт и вскоре погиб, а старший по какой-то причине остался дома, но никто и никогда больше не услышал их радиолы – старший брат не пережил блокады.

Однажды весной, где-то в конце июня 1942 года я спешила на встречу с нашей учительницей, которая хо-

тела увидеть нас, тех, кто жил в городе в блокадную зиму. Навстречу мне шла молодая женщина с короткой стрижкой, серьезная, осунувшаяся, она везла инвалидную коляску. Я с трудом узнала в этой женщине Ольгу, ту самую красавицу, на которую мне всегда хотелось быть похожей. Она остановила коляску, чтобы что-то поправить, и я увидела в коляске человека, у которого не было обеих ног. Оля узнала меня и слабо улыбнулась. Увидев в моем взгляде вопрос: «Кто этот человек?» – сказала: «Это мой муж, Саша». Откровенно говоря, мне было удивительно и непонятно, почему такая красивая женщина остригла свою дивную косу и почему она вышла замуж за безногого «калеку». Конечно, мне, двенадцатилетней девчонке, не дано было понять чувство, которое присуще взрослому человеку и которое тогда было настоящей любовью, ради которой люди идут на любые жертвы. Больше мне не довелось их увидеть. В конце августа нас эвакуировали в Сибирь.

(окончание
в следующем номере)

¹ Путешествие в страну Поэзии: В 2-х кн. Кн. 2 / Сост. Л. А. Соловьева, Ю. Б. Соловьев. Л.: Лениздат, 1988. С. 274.

² Там же. С. 278–279.

О книге Юрия Лебедева «Ленинградский “блицкриг”»

Т. Н. Минникова

Тема обороны Ленинграда широко освещена в отечественной литературе. Но до недавнего времени упор в ней делался на прославлении подвига ленинградцев, преимущественную героизацию их поведения. Однако одностороннее освещение событий тех лет, выделение только одной стороны исторической правды в ущерб другим ее сторонам не просто обедняет нашу историю, но,

по сути, искажает ее. Вот почему так важен объективный взгляд на все, что происходило в прошлом, вот почему необходимо учитывать все имеющиеся материалы на эту тему, в том числе сохранившиеся у наших бывших противников.

В этом смысле работа петербургского военного исследователя Юрия Лебедева «Ленинградский “блицкриг”» представляет собой

замечательный пример такого глубокого, скрупулезного и вдумчивого подхода. В его книге перед читателем разворачивается диалог в форме дневниковых записей двух виднейших генералов вермахта: Вильгельма Риттера фон Лееба и Франца Гальдера. Во время Великой Отечественной войны первый был командующим группы армий «Север», второй являлся начальником